

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)

DOI: 10.31862/1819-463X-2022-3-20-29

ПРОБЛЕМА «КРАЙНЕГО ГУМАНИЗМА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ «КРАСНОЙ» И «БЕЛОЙ» ГВАРДИИ

И. С. Урюпин

Аннотация. В статье в широком историко-культурном и нравственно-философском контексте исследуется одна из ключевых аксиологических проблем русской литературы, ставшая особенно актуальной в эпоху революций начала XX века, – проблема оправдания/осуждения насилия, антиномичная как по своей внутренней, бытийной природе, так и во всех внешних, бытовых ее проявлениях, идеологически обусловленных гражданским противостоянием в России двух диаметрально противоположных сил – «красных» и «белых». Русская литература, несмотря на ее исторический раскол в XX столетии на литературу советскую и литературу эмигрантскую, оставалась единой в своей духовно-онтологической сущности и потому в разрешении важнейших этических вопросов, особенно касавшихся «отдельного и общего существования» народа и личности, была поразительно единодушной. Осуждая жестокость и насилие, писатели, в силу обстоятельств оказавшиеся по разные стороны социальных баррикад, изображали ситуации, типологически схожие не только на фактологическом, но и на глубинном, ментально-психологическом уровне. Принципиально значимой явилась проблема пролития «крови по совести», поднятая Ф. М. Достоевским и получившая свое развитие в творчестве художников, полярных по своему мировоззрению, политическим и эстетическим убеждениям. В прозе И. Э. Бабеля, А. А. Фадеева, представивших свое видение Гражданской войны из лагеря красноармейцев, в поэзии С. С. Бехтеева, отразившего жизненный опыт белогвардейского офицера, оказалась осмыслена одна и та же моральная дилемма – как оправдать убийство раненого товарища, совершаемое для облегчения его физических страданий. Единственным оправданием такого убийства явилась концепция «крайнего гуманизма», которую в начале XX в. «выстрадал» М. Горький.

Ключевые слова: крайний гуманизм, М. Горький, И. Э. Бабель, А. А. Фадеев, С. С. Бехтеев, советская литература, литература русского зарубежья, проблема оправдания/осуждения насилия.

© Урюпин И. С., 2022



Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Для цитирования: Урюпин И. С. Проблема «крайнего гуманизма» в русской литературе «красной» и «белой» гвардии // Наука и школа. 2022. № 3. С. 20–29. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-3-20-29.

THE PROBLEM OF „EXTREME HUMANISM” IN „RED” AND „WHITE” GUARD RUSSIAN LITERATURE

I. S. Uryupin

Abstract. *The article studies one of the key axiological problems of the Russian literature, extremely relevant in the era of the revolutionary turn of the 20th century, in a wide historical, cultural and artistic and philosophical context. This is the problem of justifying/condemning the violence, contradictory both in its internal, existential nature, and in its external, everyday manifestations, ideologically conditioned by the civil opposition in Russia of the two powers – the “red” and the “white” guards. Russian literature, although it did historically split in the twentieth century into Soviet and emigrant, remained united spiritually and ontologically and consequently resolved important ethical issues, especially concerning separate and common existence of the people and personality, in a similar way. Condemning cruelty and violence, writers who happened to end up on the opposite sides of social barricades due to the historic events, depicted typologically similar situations not only on factual, but also deep, mental levels. The fundamental problem of “shedding blood consciously,” raised by F. M. Dostoevsky and developed by artists, polar in their worldview, political and aesthetic beliefs, became topical. In the prose of I. E. Babel and A. A. Fadeev, presenting their vision of the Civil war as Red Army soldiers, and in the poetry of S. S. Bekhteev, reflecting the experience of White Guard officer, the same moral dilemma – how to justify the murder of a wounded friend, committed to relieve his suffering – was reflected upon. The only justification of such a murder turned out to be the concept of “extreme humanism”, suggested by M. Gorky at the beginning of the XX century.*

Keywords: *extreme humanism, M. Gorky, I. E. Babel, A. A. Fadeev, S. S. Bekhteev, Soviet literature, literature of Russian emigration, the problem of justification/condemnation of violence.*

Cite as: Uryupin I. S. The problem of „extreme humanism” in „red” and „white” guard Russian literature. *Nauka i shkola*. 2022, No. 3, pp. 20–29. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-3-20-29.

Гражданская война в России, усугубившая национальную катастрофу, оказавшуюся следствием идеологических диверсий леворадикальной интеллигенции, подготовившей и осуществившей в начале XX в. череду русских революций, обнажила духовную пропасть, перед которой в равной мере оказались представители «белой» и «красной» гвардий, охваченные огнем политической вражды и социальной

ненависти. А. А. Блок, остро переживавший культурный диссонанс современного человечества, переставшего соизмерять ритм своего исторического бытия с камертоном непреходящих нравственных ценностей, услышал, как «во всем мире прозвучал колокол антигуманизма» [1, с. 125] (курсив А. А. Блока. – И. У.). В статье «Крушение гуманизма» (1919, 1921) автор поэмы «Двенадцать», констатируя общеевропейский кризис

христианской морали, тысячелетие санкционировавшей права и свободы человека в условиях авторитарного государства, отмечает стихийный, анархический порыв революционеров-романтиков к обновлению всего мироздания. Поиск фундаментальных начал этической доктрины большевиков, ниспровергавших в атеистическом запале аксиологию старого мира и превозносивших диктатуру пролетариата как символ новой веры, был омрачен «чрезвычайной жестокостью, как будто нечеловеческой» [1, с. 125].

Наблюдая за революционной активностью рабочего класса, вступившего в грандиозную битву с «Левиафаном» самодержавно-буржуазной цивилизации во имя осуществления коммунистических идеалов, М. Горький в «Несвоевременных мыслях» (1917–1918) подверг резкой критике всплеск невиданной жестокости, охватившей тех, кто, встав в авангарде истории, взял на себя миссию миротворца/творца нового, социально справедливого миропорядка. Писатель приводит парадоксальный факт, потрясший его до глубины души: в эпоху революции жестокость становится поистине экстатической и достигает своих нравственных пределов; не меньше, чем в мужчинах, веками культивировавших в себе воинственные чувства, она проявляется в женщинах, что противно самой человеческой природе. «Отрицая жестокость, органически ненавидя смерть и разрушение, женщина-мать, возбудитель лучших чувств мужчины, объект его восхищения, источник жизни и поэзии – кричит: – Перебить, перевешать, расстрелять...» [2, с. 173]. Но в самой этой ненависти проявляется праведный гнев, который не имеет морального права осуждать даже самый строгий, фарисействующий гуманист.

Для М. Горького, идеалистическое мировоззрение которого сформировалось во многом под влиянием европейского гуманизма, оказавшего колоссальное

влияние на русскую культуру от аристократических верхов до демократических низов, очень остро встал вопрос об онтологии насилия – возможно ли вообще допустить насилие в цивилизованном обществе, ведь акт насилия/жестокости, осуждаемый религиозно, политически и социально зачастую оправдывается. В статье «Гуманистам» (1930) писатель, рефлексировав по поводу нравственной дилеммы об оправдании и/или осуждении насилия во имя благих целей и намерений, не без категоричности заявляет: «Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю – да! Еще не было момента, когда бы оно не употреблялось ради достижения этой цели» [3, с. 148]. Конечно, гуманист М. Горький отнюдь не выступает апологетом насилия, но, будучи реалистом, он хорошо осознает, что для того, чтобы восстановить справедливость, нужно проявить волю, твердость, а порой и жестокость. Без этого невозможен «пролетарский гуманизм», о котором писатель рассуждает в одноименной статье 1934 г., обосновывая «право на беспощадную борьбу» против сил, препятствующих прогрессу, «право на разрушение и уничтожение всех гнуснейших основ» [4, с. 304] старого мира. Воинствующий пафос горьковской публицистики 1930-х гг. не был конъюнктурным стремлением обелить сталинизм, дезавуируя факты жестокости, с геометрической прогрессией множившиеся в тоталитарном государстве, в чем нередко упрекают писателя современные критики. Уже в начале XX в. в творчестве М. Горького сложилась и последовательно реализовывалась концепция «крайнего гуманизма», представлявшего собой «бунт против всего, что искажает “идею Человека”, заковывая ее в тесные бытовые, национальные, социальные и природные границы» [5, с. 312]. Эпитет «крайний» при характеристике горьковского гуманизма указывает на исключительный характер инструментов

восстановления поправной человечности, лишь в «крайних случаях» писатель допускает жестокость/жесткость в деле осуществления гуманистического «правосудия», выступая принципиальным противником толстовской идеи «непротивления злу насилием» и при этом невольно разделяя позицию своего белогвардейского оппонента И. А. Ильина, выраженную в трактате «О сопротивлении злу силой».

Насилие как волевой акт благодеяния при всей его абсурдности и кажущейся антигуманности в русской литературе XX в. стало аксиологической проблемой-антиномией и получило глубокое, всестороннее осмысление в творчестве художников едва ли не всех направлений в искусстве, чутко реагировавших на вызовы времени и духовные процессы современности. С предельной этической остротой и бескомпромиссностью эта проблема была поднята и по-своему разрешена не только в советской литературе революционной эпохи, но и в литературе русской эмиграции. Писатели, в силу исторических обстоятельств оказавшиеся по разные стороны политических баррикад, принадлежавшие к диаметрально противоположным социально-культурным полюсам «русского мира», расколотаго революцией 1917 г., тяготея к «красной» или «белой» гвардии, поразительно совпали в своем стремлении обрести нравственный абсолют. А потому, по справедливому замечанию М. М. Голубкова, «можно говорить о некоей общности, целостности, основанной на эстетических и, если угодно, бытийно-философских концепциях, сложившихся в этих двух потоках русской литературы в течение XX в.» [6, с. 70].

Такая духовная целостность русской литературы, непоколебленная обстоятельствами и трагическими перипетиями отечественной истории, проявилась в решении моральных вопросов и ситуаций, на которые указывали писатели различных мировоззренческих установок и

ориентаций. И для «красных», и для «белых» чрезвычайно болезненной и неразрешимой оставалась проблема пролития «крови по совести», поднятая Ф. М. Достоевским в романе «Преступление и наказание» (1865–1866). Постановка этой проблемы и ее идейная рефлексия Раскольниковым, повергшая в ужас Разумихина, поражала своей циничной категоричностью, ведь сама готовность человека взять на себя грех убийства, «страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...» [7, с. 202]. Русская классическая литература, со всей полнотой и принципиальностью раскрывшая психологические бездны и нравственные терзания героев, решившихся на преступление, представила галерею образов убийц, не являющихся отъявленными разбойниками и душегубами, более того, наделенных обостренным чувством совести и предстающими даже в некотором ореоле праведности/святости. Таков, например, Иван Северьяныч Флягин, герой повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» (1872–1873), внявший мольбам исстрадавшейся цыганки Груши и совершивший ее убийство: «Пожалей меня, родной мой, мой моленый брат; ударь меня раз ножом против сердца» [8, с. 342]. Лесковский герой по сути принял удар на себя, умер для мира – ушел в монастырь, чтобы молитвенными слезами смыть совершенный грех.

Убийство как величайшее злодеяние, априори заслуживающее осуждения с точки зрения христианской доктрины, впервые в русской литературе подвергается моральной верификации и если не оправданию, то социально-психологическому объяснению, свободному от догматических установок официальной религии и права. *Крайние* жизненные обстоятельства вынуждают человека переступить через нравственный закон, особенно в периоды исторических катаклизмов, которые в начале XX в. лавиной обрушились на Россию. Войны и

революции поколебали духовные устои мироздания, взорвали традиционную ценностную парадигму, которая на протяжении веков обеспечивала существование человечества.

В ранней советской литературе, героизиовавшей большевиков и воспевавшей «красный террор», убийство, нередко выступавшее предметом изображения, преподносилось как неизбежный факт гражданского противостояния и результат политической необходимости. Однако во власти этой идеологической абстракции – исторической Необходимости – оказалась жизнь и судьба *маленького человека*, которым, казалось, можно и должно пренебречь во имя достижения сверхчеловеческих/внечеловеческих целей. Но какова цена человеческой жизни, особенно в той социокультурной ситуации, в которой, по выражению Р. Гальцевой и И. Роднянской, «помеха – человек» [9, с. 217]? В эпоху коренной ломки устоев традиционного бытия человек действительно стал помехой в осуществлении кардинальных государственных и общественных преобразований, начал восприниматься как «расходный материал», из которого, как из «природного вещества», можно создать «новый мир». «Подешевел человек за революцию» [10, с. 300], – сетовал герой романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» (1925–1940). Такая «дешевизна» неизбежно оборачивалась девальвацией личности, обесцениванием самой жизни, а значит – допускала/разрешала насильственное ее пресечение. «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вшу раздавить» [10, с. 300].

Революция и гражданская война сделали смерть обыденностью, лишив ее сакрального, духовного значения, с чем не может примириться герой романа И. Э. Бабеля «Конармия» (1922–1937) Кирилл Лютов, «кандидат прав петербургского университета» [11, с. 75], оказавшийся бойцом «Первой Конной

Буденной армии» и невольным регистратором «летописи будничных злодеяний» [11, с. 82]. По верному замечанию Н. М. Малыгиной, в бабелевской хронике представлена в наиболее концентрированном виде «жестокость будничная, бессмысленная и почти механическая» (курсив Н. М. Малыгиной. – И. У.) [12, с. 145], доведенная до своего абсурдного нравственного предела, закономерным следствием которого является убийство ближнего – и врага, и друга – в зависимости от обстоятельств и «логики» политического момента.

В рассказе «Смерть Долгушова» писатель одним из первых в советской литературе поднял моральную проблему убийства человека по его согласию, актуализировав несколько очень важных этических вопросов: насколько гуманно прерывать жизнь человека, обреченного на смерть, освобождая его от физических страданий; можно ли пренебречь отдельной человеческой жизнью во имя жизни коллектива; становится ли преступником тот, кто исполняет волю самой жертвы, выступая орудием судьбы или безликой необходимости. И. Э. Бабель не дает никаких оценок и авторских комментариев, фиксируя исключительно факты всеобщего и индивидуально-частного бытия народа и личности в экстремальной ситуации гражданской войны. Смертельно раненый телефонист Долгушов («Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны» [11, с. 91]) прямо говорит товарищам: «Я вот что <...> кончусь... Понятно?»; «Патрон на меня надо стратить» [11, с. 91]. Не давая волю чувствам и парализующей слабости, Афонька Бида «выстрелил Долгушова в рот» [11, с. 92]. «А я вот не смог» [11, с. 92], – признавался интеллигент Лютов, одолеваемый сомнениями и терзаемый муками совести: и от того, что не мог помочь умолявшему его товарищу облегчить невыносимые страдания, и от того, что не находил в себе силы решиться на

ответственный поступок, за который нужно заплатить высокую моральную цену.

Те же самые нравственные вопросы волнуют и героев романа А. А. Фадеева «Разгром» (1924–1926), командира красногвардейского отряда Левинсона и его помощника Сташинского. Оба они, как и бабелевский Кирилл Лютов, интеллигенты, носители гуманистической культуры, воспитанные на уважении к человеческому достоинству и привыкшие к непрестанной этической рефлексии. Но в отличие от героя «Конармии», чувствовавшего себя чуждым в рабоче-крестьянской среде и чужим на войне, не желавшего проливать кровь, даже кровь врага, Левинсон и Сташинский не могут себе позволить самоустранения от принятия принципиального решения: как быть с раненым партизаном Фроловым («Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо» [13, с. 27]). Автор с поразительной психологической точностью передает состояние командира отряда, вынужденного принять «непопулярное», страшное решение: «Кажется, остается единственное... я уже думал об этом... – Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти» [13, с. 107]; он «хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял...» [13, с. 107–108].

Весь эпизод, связанный с предсмертными страданиями Фролова, осознававшего, что ему остаются считанные минуты («"Конец..." – подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи» [13, с. 109]), А. А. Фадеев наполняет напряженными душевно-духовными переживаниями героев – и того, кто будет убит, и тех, кто станет убийцами, не решаясь

даже назвать само слово «убийство» по отношению к совершающемуся священному акту. Левинсон, подобно древнему жрецу, благословляющему адепта на принесение сакральной жертвы, вопрошает Сташинского: «Готов ли ты?», получая ритуальный ответ: «Да, готов» [13, с. 108]. После этого ни у кого уже не осталось сомнений в необходимости исполнить вынесенный приговор: «Сташинский поднес мензурку. Фролов поддерживал ее обеими руками и выпил...» [13, с. 110]. Какими бы политическими и этическими мотивами ни руководствовался командир красноармейцев, он отдал приказ убить боевого товарища, поручив исполнение этого приказа самому близкому человеку в отряде, которому доверял свои личные тайны, взяв на себя весь груз нравственной ответственности и за убитого, и за убийцу. «Конечно, никакого, тем более социалистического, гуманизма в этом нет» [14, с. 364], утверждал С. И. Шешуков, но в самом поступке Левинсона и Сташинского, обрекших «себя на муки совести», было «чувство неизбывной трагической вины» [15, с. 194], от которой невозможно скрыться и которая будет постоянно тревожить убийцу.

Подобное чувство преследует генерала Хлудова в пьесе М. А. Булгакова «Бег» (1926–1928, 1937), инициировавшего расправу с вестовым Крапилиным, дерзнувшим поставить под сомнение военную стратегию белой армии по обороне Крыма от большевиков. Его казнь/убийство для Хлудова стала незаживающей раной совести, нравственным грузом, от которого невозможно избавиться и который постоянно напоминает о себе непомерной душевной тяжестью: «Он, он, проклятый, висит на моих ногах и тянет меня, и мгла меня призывает» [16, с. 262]. «Идея непримиримости человеческого сознания с насилием и жестокостью, идея неприкосновенности личности» [17, с. 253] в русской культуре революционной эпохи подверглась

серьезному моральному испытанию и конкретно-историческому самосвидетельству, явленному в литературе *белой* и *красной* гвардии. Гуманистический пафос отечественной словесности, неразделимой на политические фракции, со всей очевидностью обнаружился «в годину смуты и разврата» [18], когда расколота гражданской враждой Россия в равной мере сокрушалась о гибели своих «красных» и «белых» сыновей.

«Белый был – красным стал:

Кровь обагрила.

Красный был – белым стал:

Смерть побелила» [19, с. 576], – писала М. И. Цветаева.

Единый духовный корень русского древа, устоявшего вопреки разрушительному революционному вихрю, определял национальное бытие красноармейцев и белогвардейцев. Несмотря на полярность сиюминутных идеологических расхождений, они сближались в главном – в понимании ценности человеческой жизни, которой в силу «крайних» исторических обстоятельств приходилось жертвовать. Та же нравственная коллизия, представленная советскими писателями с поразительной психологической глубиной и вместе с тем социально-политической заданностью, оказалась художественно реализована в литературе русской эмиграции, не менее тенденциозной, чем литература метрополии. Однако диаметрально противоположность оценок фактов и событий периода Гражданской войны, как ни парадоксально, несколько не поколебала аксиологические основы и моральные приоритеты русского человека. В стане белых, как и в лагере красных, была поднята серьезнейшая этическая проблема – проблема братоубийства, причем в ее самом крайнем, наиболее драматическом проявлении, когда совершается убийство не брата-врага, а убийство брата-товарища, обреченного на гибель. С предельной эмоциональной остротой эту проблему творчески

разрешил С. С. Бехтеев в балладе «Убийца» (1947), которой предпосылается подзаголовок «Рассказ солдата Ивана». И хотя произведение написано после Второй мировой войны, поэт-эмигрант, белогвардейский офицер, всю жизнь вспоминая потерянную Россию, воплотил в нем трагический опыт русского народа, пережившего в XX в. колоссальные исторические катаклизмы.

От лица солдата Ивана ведется «рассказ печальный, но правдивый, / бесхитрый, неприхотливый, / волнующий сердца людей / ужасной истиной своей» [20, с. 334]. Лирический герой исповедует в совершенном им убийстве боевого товарища, тяжело раненного в бою, «сраженного дьявольским снарядом» [20, с. 335]. «Он плавал в собственной крови» [20, с. 335] и, испытывая сильнейшую физическую боль, «с мольбой» обратился к другу: «Дай мне забвение могилы»; «О, сжался, сжался, умоляю, / Пойми меня и пожалей, / Ты добр, ты жалостлив, я знаю, / Убей меня, убей скорей» [20, с. 335]. Душераздирающий вопль товарища о такой непостижимой для человеческого разума помощи – убийстве – потряс Ивана своей безысходностью и поразительной глубиной страдания: он «молил о смерти, как о счастье, как о блаженстве для него» [20, с. 336]. Не в силах смотреть на «окровавленные ноги и взрывом вырванную грудь» солдата, Иван, по его собственному ощущению, впал в состояние «безумья рокового» и, охваченный отчаянием, «взял оружие боевое и друга жалкого добил» [20, с. 336].

Совершая убийство ближнего, нарушая божественную заповедь, бехтеевский герой обрекает себя на муки совести, ибо прекрасно осознает, что на моральное преступление, которое он творит, его толкает нравственное чувство. Этот духовный парадокс во всей его онтологической бескомпромиссности был осмыслен русской религиозной философией Серебряного века,

раскрывшей сущность «трагедии советсти» – «добровольное принятие на себя страдания предполагает и необходимое принятие греха» [21, с. 99]. Смертный грех довлеет над солдатом Иваном, не только переживающим гибель друга, но и ощущающим страшную духовную оторванность от воинов-братьев: «он был от них от всех далек, / Убит, подавлен, одинок» [20, с. 334]. Погруженный в раздумье, «какой-то тайной удрученный» [20, с. 334], он не находит себе места среди боевых товарищей, которые, между прочим, не смеют его винить в совершенном поступке: «Но не было у них в сердцах / Ни слабой тени осуждения, / Ни слов укора на устах» [20, с. 337].

Для поэта глубоко верующего, воцерковленного, каким был С. С. Бехтеев, убийство никогда не переставало быть грехом, за который неминуемо наступает нравственная расплата, но убийство на войне, да еще смертельно раненного товарища, изнемогающего от физических мучений, воспринималось как «святой грех», как проявление *крайнего* сострадания, на которое далеко не каждый может решиться, а решившийся

сознательно обрекает себя на вечное искупление, на вечное несение креста – и своего собственного, и своей жертвы. Православное мироощущение «царского певца», направившего «Их Величествам и Их Высочествам в г. Тобольск» [20, с. 103] утешительные слова «Молитвы» («Пошли нам, Господи, терпенья...», 1917) перед крестной гибелью императорской семьи от рук большевиков, находило духовное объяснение творящихся в истории по неведомому человеку божьему промыслу фактов насилия, которые совершаются в жизни в исключительных, *крайних* обстоятельствах, к которым поэтому не применимы обыденные, мирские оценки. Конечно, никакие религиозно-сакральные аргументы для оправдания своих деяний не выдвигали большевики. Но и те, и другие допускали убийство ближнего, вынужденно признавая человека орудием судьбы / неумолимых диалектических законов, управляющих мирозданием. Однако и красные, и белые, подчиняясь *безжалостной* Необходимости, не переставали *жалеть* человека, воплощая в русской литературе выстраданную ими идею «крайнего гуманизма».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блок А. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 6: Проза 1918–1921. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. 556 с.
2. Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990. 400 с.
3. Горький М. Публицистические статьи. Л.: ОГИЗ – ЛЕНГИХЛ, 1933. 415 с.
4. Горький М. Статьи и памфлеты. Л.: Молодая гвардия, 1948. 352 с.
5. Басинский П. В. Горький. М.: Молодая гвардия, 2006. 451 с.
6. Голубков М. М. Русская литература XX в. После раскола: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 267 с.
7. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 6: Преступление и наказание. Л.: Наука, 1973. 424 с.
8. Лесков Н. С. Повести и рассказы. М.: Правда, 1981. 576 с.
9. Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 217–230.
10. Шолохов М. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5: Тихий Дон. Кн. 4. М.: ГИХЛ, 1957. 504 с.
11. Бабель И. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2: Конармия. Статьи из «Красного кавалериста». Дневник 1920 года. Планы и наброски. М.: Время, 2006. 416 с.

12. Мalygina Н. М. Изображение гражданской войны в конармейском цикле Исаака Бабеля и в прозе Андрея Платонова // Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век. М.: Книжники: Литературный музей, 2016. С. 135–157.
13. Fadeev A. A. Razгром. М.: Советская Россия, 1981. 208 с.
14. Шешуков С. И. Жажда сильного и доброго человека. Роман А. А. Fadeeva «Разгром» // Русская литература. Советская литература: Справочные материалы: кн. для учащ. старших классов. М.: Просвещение, 1989. С. 349–367.
15. Chesnokova И. К. Проблема гуманизма в романе Александра Fadeeva «Разгром» // Наука и образование: новое время. Чебоксары, 2015. № 5 (10). С. 189–200.
16. Булгаков М. А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 5: Багровый остров. Пьесы, повесть. Черновые тетради романа «Мастер и Маргарита». М.: Голос, 1997. 544 с.
17. Штейман М. С. Мотив вины в раннем творчестве М. Булгакова // Материалы областной научной конференции по проблемам гуманитарных наук, 23–24 мая 2013 г. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2013. С. 252–254.
18. Урюпин И. С. «В годину смуты и разврата...»: об одной реминисценции в творчестве М. А. Шолохова и С. С. Бехтеева // Дом Бурганова. Пространство культуры. М., 2017. № 2. С. 63–72.
19. Цветаева М. И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1: Стихотворения. М.: Эллис Лак, 1994. 640 с.
20. Бехтеев С. С. Грядущее: стихотворения. СПб., 2004. 448 с.
21. Скворцов А. А. Русская философия войны Серебряного века: основные особенности // Философские науки. М.: Академия гуманитарных исследований, 2020. Т. 63, № 11. С. 91–103.

REFERENCES

1. Blok A. A. *Sobr. soch.* In 8 vols. Vol. 6: Proza 1918–1921. Moscow; Leningrad: GIKhL, 1962. 556 p.
2. Gorkiy M. *Nesvoevremennye mysli: Zametki o revolyutsii i kulture.* Moscow: Sovetskiy pisatel, 1990. 400 p.
3. Gorkiy M. *Publitsisticheskie statyi.* Leningrad: OGIZ – LENGIKhL, 1933. 415 p.
4. Gorkiy M. *Statyi i pamflety.* Leningrad: Molodaya gvardiya, 1948. 352 p.
5. Basinskiy P. V. *Gorkiy.* Moscow: Molodaya gvardiya, 2006. 451 p.
6. Golubkov M. M. *Russkaya literatura XX v. Posle raskola: ucheb. posobie dlya vuzov.* Moscow: Aspekt Press, 2002. 267 p.
7. Dostoevskiy F. M. *Poln. sobr. soch.* In 30 vols. Vol. 6: Prestuplenie i nakazanie. Leningrad: Nauka, 1973. 424 p.
8. Leskov N. S. *Povesti i rasskazy.* Moscow: Pravda, 1981. 576 p.
9. Galtseva R., Rodnyanskaya I. Pomekha – chelovek. Opyt veka v zerkale antiutopiy. *Novyy mir.* 1988, No. 12, pp. 217–230.
10. Sholokhov M. A. *Sobr. soch.* In 8 vols. Vol. 5: Tikhii Don. Part 4. Moscow: GIKhL, 1957. 504 p.
11. Babel I. E. *Sobr. soch.* In 4 vols. Vol. 2: Konarmiya. Statyi iz “Krasnogo kavalerista”. Dnevnik 1920 goda. Plany i nabroski. Moscow: Vremya, 2006. 416 p.
12. Malygina N. M. Izobrazhenie grazhdanskoj vojny v konarmejskom tsikle Isaaka Babelya i v proze Andreya Platonova. In: Isaak Babel v istoricheskom i literaturnom kontekste: XXI vek. Moscow: Knizhniki: Literaturnyy muzey, 2016. Pp. 135–157.
13. Fadeev A. A. *Razгром.* Moscow: Sovetskaya Rossiya, 1981. 208 p.
14. Sheshukov S. I. Zhazhda silnogo i dobrogo cheloveka. Roman A. A. Fadeeva “Razгром”. Russkaya literatura. Sovetskaya literatura: Spravochnye materialy: kn. dlya uchashch. starshikh klassov. Moscow: Prosveshchenie, 1989. Pp. 349–367.
15. Chesnokova I. K. Problema gumanizma v romane Aleksandra Fadeeva “Razгром”. *Nauka i obrazovanie: novoe vremya.* Cheboksary, 2015, No. 5 (10), pp. 189–200.
16. Bulgakov M. A. *Sobr. soch.* In 10 vols. Vol. 5: Bagrovyy ostrov. Pyesy, povest. Chernovye tetradi romana “Master i Margarita”. Moscow: Golos, 1997. 544 p.

17. Shteyman M. S. Motiv viny v rannem tvorchestve M. Bulgakova. *Proceedings of Regional scientific conference on the problems of the humanities, 23–24 May 2013*. Elets: EGU im. I. A. Bunina, 2013. Pp. 252–254.
18. Uryupin I. S. “V godinu smuty i razvrata...”: ob odnoy reministsentsii v tvorchestve M. A. Sholokhova i S. S. Bekhteeva. *Dom Burganova. Prostranstvo kultury*. Moscow, 2017, No. 2, pp. 63–72.
19. Tsvetaeva M. I. *Sobr. soch.* In 7 vols. Vol. 1: *Stikhotvoreniya*. Moscow: Ellis Lak, 1994. 640 p.
20. Bekhteev S. S. *Gryadushchee: stikhotvoreniya*. St. Petersburg, 2004. 448 p.
21. Skvortsov A. A. Russkaya filosofiya voyny Serebryanogo veka: osnovnye osobennosti. *Filosofskie nauki*. Moscow: Akademiya gumanitar. issledovaniy, 2020. Vol. 63, No. 11, pp. 91–103.

Урюпин Игорь Сергеевич, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской литературы XX–XXI веков Института филологии, Московский педагогический государственный университет

e-mail: is.uryupin@mpgu.su; isuryupin78@mail.ru

Uryupin Igor S., ScD in Philology, Associate Professor, Professor, Russian literature of the XX–XXI centuries Department, Institute of Philology, Moscow Pedagogical State University

e-mail: is.uryupin@mpgu.su; isuryupin78@mail.ru

Статья поступила в редакцию 10.11.2021

The article was received on 10.11.2021